

ГЕРКУС КУНЧЮС

ПРОШЕДШИЙ
МНОГОКРАТНЫЙ
РАЗ

BALTRUS) проза



Геркус Кунчюс

Прошедший многократный раз

«Новое издательство»

2008

Кунчюс Г.

Прошедший многократный раз / Г. Кунчюс — «Новое издательство», 2008

Герой романа одного из популярнейших писателей современной Литвы Геркуса Кунчюса (род. в 1965 г.) – томящийся в Париже литовский интеллеktуал богемного толка, чьи наблюдения, рассуждения и комментарии по поводу французской столицы и её жителей и составляют содержание книги. Париж в описании автора сначала вызывает изумление, которое переходит в улыбку, а затем сменяется безудержным смехом. Роман Кунчюса – это настоящий фейерверк иронии, сарказма, гротеска. Его читаешь, не отрываясь, наслаждаясь языком и стилем автора, который, умело показывая комическую сторону многих привычных явлений, ценностей и установок, помогает нам расставаться и с нашими недостатками, и с нашим прошлым. Во всяком случае, с тем в этом прошлом, с чем стоит расстаться.

© Кунчюс Г., 2008

© Новое издательство, 2008

Геркус Кунчюс

Прошедший многократный раз

Улица, на которой я живу, жутко воняет, словно мир умер неделю назад, и теперь клетки моего мозга разлагает, распolzаясь по ним, парализующий смрад. Приятель, приютивший меня в своей квартире, все время пытается убедить меня в том, что я заблуждаюсь. Я его понимаю – неудобно передо мной из-за этой вони. Делает вид, что ее не чувствует, но не тут-то было. Мне не нужно блуждать по закоулкам, чтобы понять, откуда распространяется это апокалиптическое зловоние, так как окно квартиры выходит прямо на рыбоперерабатывающий комбинат. Даниэль делает вид, что ничего не понимает, а когда его спрашиваешь, заявляет, что мне надо сходить к врачу проверить обонятельные рецепторы. Отношусь к его предложению снисходительно, но от этого не легче – все равно воняет. Ничего не думаю, а только нюхаю, нюхаю и впитываю в себя смрад, смешанный с пылью и аномальной жарой – 38 градусов по Цельсию. Пытаюсь прижаться к стене, однако она как печка. Открываю окно – еще хуже. Закуриваю, но ощущение такое, как будто свернул сигарету из фекалий. Спасения нет. Вспоминаю написанное Зюскиндом: «В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных людей». Наивный автор. Он не жил на улице Кастаньяри, наверное, даже не знает, что такая есть в Париже. Воняет. Невыносимая вонь, и ничто не напоминает Парижа, виденного в рекламных буклетах.

Живу здесь уже месяц, но все не могу привыкнуть к смраду. Много к чему не могу привыкнуть. Не могу привыкнуть к постельному белью, которое Даниэль купил специально для меня. Оно по-весеннему зеленое, однако куплено в арабском квартале, поэтому красится. Утром встаю весь зеленый. Приходится умываться и добрых полчаса стирать с себя впитавшиеся в тело краски. Это неприятно, хотя с каждым утром смотрю на постель, с которой встаю, все спокойнее.

Даниэль раньше поднимался в шесть утра, но с моим приездом его распорядок дня несколько сдвинулся. Говоря «несколько», я имею в виду, что он полностью изменился. Я так утомляю его дневными и ночными монологами, что теперь этот бедняга не то чтобы встает в полдень, но, во всяком случае, давно забыл про зарядку и утренние марафоны в парках. Мне его даже немного жалко, потому что спит он как убитый, хотя в письмах жаловался на бессонницу, вспышки кошмаров в подсознании и еще черт знает на что. С другой стороны, его предупреждали. Я давно сказал, что мое пребывание для него может стать монументально дискомфортным. Пока что он меня терпит, а когда я спрашиваю, не утомляю ли его, тактично отвечает, что все хорошо, ему приятно со мной общаться. Не знаю, сколько это еще будет продолжаться, но пока продолжается.

Сплю я на его двуспальной кровати, на которой он, как сам рассказывал, когда-то развлекался с одной австриячкой, оставившей его после того, как с ним на море случился инфаркт. Даниэль уверяет, что это он ее бросил, однако я не верю: зачем австриячке нужен француз, да еще перенесший инфаркт? Словом, она убралась обратно в Вену. Это было пару лет назад. Даниэль довольно стойчески перенес эту утрату. Теперь он, по собственному утверждению, находит отдохновение не в любовных утехах, а в лингвистических занятиях. Я с большим недоверием отношусь к этому его выбору, однако не возражаю, хотя для меня и странно, как можно два года выдержать без женщины. Но это его дело. Уступил он мне, значит, свою двуспальную кровать, а сам спит на полу. Каждый вечер, то есть под утро, когда мы уже заканчиваем дискуссию об Умберто Эко, он снимает со шкафа в коридоре чемодан с засунутыми туда постельными принадлежностями не зеленого цвета. Это продолжается месяц. Каждый раз, когда он снимает этот чемодан, я осведомляюсь: «Куда-нибудь уезжаешь, Даниэль?» Он отвечает, что никуда не уезжает, однако чувствуется, что такие подкалывания ему не очень по душе. И тем

не менее я каждый раз спрашиваю. Не знаю, ему, может, надоело, а мне приятно, как эликсир перед сном.

Живем мы в одной комнате, здесь же и кухня. Даниэль, конечно, спит рядом с плитой, на которой готовит королевские обеды и ужины. Хотя я и пытаюсь подниматься раньше него, но, когда просыпаюсь, нахожу накрытый стол, сваренный кофе, еще теплые булочки, мед и другие сладости. Завтракаем мы медленно и все время стараемся вспомнить, на каком месте прервался вчерашний разговор. Чаще всего вспомнить не удастся. Однако мы не переживаем из-за этого. Мало ли в мире других тем?!

Не очень понимаю, что я делаю у него, а тем более – в этом городе, но после завтрака, не прибегая к отговоркам, убираю со стола. Не стану утверждать, что мне это приятно, но таким образом я как бы присоединяюсь к нашему общему в это время быту. Он пытается возражать, но у меня воля сильнее, да и старше я на два года. Точно не знаю, что я здесь делаю. Вначале воображал, что приехал в Париж писать. К сожалению, то были наивные мысли, так как литература создается в других городах. С другой стороны, я рад, что не нужно ничего делать. Когда Даниэль спрашивает меня, что я сегодня буду делать, отвечаю: мыслить. Он, профессор умственного труда, меня понимает и не возражает. Конечно, можно было бы попытаться найти какую-нибудь работу, однако это утомляет. Да если бы и нашел – ничего бы не изменилось. Когда-то я читал роман, герой которого все жаловался, что ему нечего делать, однако осмысленной деятельности и не искал. Тогда меня это злило. Теперь – понимаю и одобряю. Действительно, ведь можно быть писателем и не писать книг, быть философом и не мыслить. Довольно разумное состояние. С другой стороны, когда меня спрашивают, кто я, что делаю, я прихожу в замешательство, так как действительно не знаю, что ответить. Легче всего было бы сказать, что я бизнесмен. Но опять сталкиваешься с проблемой: кем становится бизнесмен, потерявший богатство? Да еще сидящий в тюрьме! Остается ли он и дальше бизнесменом? А может, он уже только заключенный? А философ, сидящий в тюрьме? Не знаю. Поэтому, когда меня спрашивают, молчу.

Даниэль не ломает голову над моими трудами. У него есть его шумерские пиктограммы, египетские надписи, римские сентенции и т. д. Он очень терпим, хотя и его терпение порой истощается. Вчера я пытался вдеть новый браслет в позолоченные часы, но безуспешно. Я спохватился, когда было уже слишком поздно, – часы лежали на улице. «Да ладно. Все хорошо», – успокоил он меня и повернулся к своему компьютеру. В окно я видел, с какой радостью поднял часы, сначала осторожно осмотревшись по сторонам, работник рыбокомбината, воняющий, несомненно, сильнее, чем улица.

Не могу утверждать, что не переносу эту квартиру и эту улицу. Дом старый, поэтому тараканы меня не удивляют. Не удивляет и груда мусора в шахте лифта. Она видна через окно ванной. Свыкся с такими картинами, бывшими когда-то неотъемлемой частью пережитой реальности. Правда, дверь туалета не закрывается, поэтому, когда присаживаешься там, приходится изнутри подпирать ее ведром, которое желательно наполнить водой, чтобы дверь его не опрокинула. Конечно, дверь можно захлопнуть изнутри, но нет ручки. Совершенно не хочу ждать, пока меня освободит Даниэль, поэтому никогда не забываю ведро. Даниэль уже успел мне рассказать, как тайландка, в свое время жившая у него, захлопнула дверь, когда его не было дома. Она была спортивного склада, поэтому выбила окно в ванной, залезла на подоконник, перепрыгнула через шахту лифта и оказалась на другом подоконнике. Тогда уже осталась пара пустяков: выбить еще одно окно и попасть в комнату через кухню. Говорит, что соседи были очень недовольны, так как думали, что это какая-то террористическая вылазка. Акустика в шахте, надо сказать, очень хорошая. Так что всегда наполняю ведро до краев. Это очень удобно, потому что вода в туалете не спускается. Значит, убиваю двух зайцев. А убив их, чувствую, что выполнил нечто серьезное, и поднимаюсь. Правда, туалет давно не убирали, и он успел покрыться желтоватой известью. Я здесь принялся, когда еще не знал, откуда рас-

пространяется смрад. Нет, здесь все хорошо. Мне неприятно, что я так плохо думал о туалете. С другой стороны, я доволен, что к нам никто не заходит. Хотя я и считаю себя свободным человеком, но не имею никакого желания сидеть в туалете при полуоткрытой двери и приводить гостей в ужас своими физиологическими переживаниями.

Все равно не выдерживаю и снова открываю только что закрытое окно. Еще хуже, жарче, гнуснее. Улица вымерла. Здесь не Испания, никто не отваживается в такую жару подпирать уличные стены. Нет и Дружка Алкоголика, которого мы прозвали так потому, что мужичок не выпускает случая поздороваться и при этом все сует руку. Я с ним всегда здороваюсь и подаю свою, хотя поначалу он меня немного удивлял. Дружок Алкоголик – неотъемлемый элемент этой улицы. Даниэль утверждает, что он поляк, однако, когда я заговорил с ним по-польски, он только пробормотал что-то себе под нос. Польский язык это, разумеется, и отдаленно не напоминало. Теперь мы с Даниэлем думаем, что он венгр. Даниэль пытается выведать у него правду. Даже пригласил в кафе, но ничего не добился. Тот и о жизни-то своей не рассказывал, хотя его и угостили кофе. Даниэль уверяет, что если бы Дружку негде было жить, он бы пустил его к себе. Я выслушиваю это равнодушно, так как желания делиться с ним двуспальной кроватью у меня нет. Меня удивляет только, что с полудня он уже бывает в стельку пьян. По экипировке его не скажешь, что живет на ренту, но и к клошарам его причислить было бы слишком смело. Странная личность, хотя мне всякий раз приятно с ним встречаться. Когда он здороваётся со мной, я чувствую себя не таким одиноким в городе. Он поистине дружелюбен. Пытаюсь внушить Даниэлю, что все восточноевропейцы такие, но замечаю сомнение в его глазах, хотя он и не возражает.

Улица пуста. Совсем пуста, а когда я вижу проезжающий под окнами автомобиль, высыпаю ему на крышу окурки из пепельницы. Водитель даже не замечает.

Можно было бы почитать, но лень. Начал читать пьесу Борхерта, однако она о войне. Я на войне не был, поэтому переживания героя-мученика мне не очень близки. Пытаюсь разобраться в себе, но не удается. С удовольствием выпил бы, но такая жара! Такая вонь!

Пить мне здесь не с кем, потому что Даниэль наполовину абстинент, да еще и после инфаркта. Иногда уговариваю его. Он неохотно соглашается. Его вкус восхищения у меня не вызывает, так как он все еще предпочитает сладкий вермут, «Порто», который мне напоминает чернила, разные ликерчики, от которых меня тошнит, и т. д. Однако приходится приноравливаться: лучше это, чем ничего. Я хочу водки, хочу виски, хочу джина, хочу рома. Рома?

– Даниэль, что бы ты сказал, если бы мы сейчас пропустили по рюмашке рома? – соблазняя я приятеля, хотя вряд ли он согласится.

– Почему бы и нет? – к большому моему удивлению, заявляет он, а я уже стою перед ним с литровой бутылкой рома и не могу дождаться, пока он вытащит рюмки – ясное дело, я хотел бы, чтобы вытащил большие стаканы.

– Это колониальный ром, – объясняет он, оставив в покое свой компьютер, набитый всеми языками этого мира.

Даниэль коснулся моей излюбленной темы и теперь не отвертится. Будем говорить об алкоголе, потому что в такую погоду разглагольствовать о «Чуме» Камю или «Пустыне» Ле Клезю было бы величайшей бессмыслицей. И кроме того, утомительной.

Стаканчики уже на алжирском столике, который ему подарили друзья-мусульмане. Садимся на пол. На полу я сидеть не люблю, так как у меня моментально сводит мышцы. Жертвую собой. Кое-как удается устроиться. Стаканчики наполнены. Его – до половины. Мой – полный. Могу гордиться, что мне удалось научить его этому. Чокаемся. Выпиваем. Он встряхивается. Меня еще не проняло.

– Тебе не кажется, что в такую погоду надо пить крепкие напитки? – скорее утверждаю, нежели спрашиваю я.

– Возможно, но мне надо работать.

– Да, работать... Не странно ли, Даниэль, что в ваших колониях, где очень жарко, изготавливают самые крепкие напитки?

– Это не мои колонии. С колониями я не имею ничего общего, однако в Южной Франции пьют пасти, крепость которого достигает целых 45 процентов!

– Да, знаю, но его разводят. А разведенный, может, только 15 процентов достигает. Тоже бурда.

– Мне пасти нравится...

– Знаю, что нравится, но ром с этих островов просто чудо! Ты погляди – литр! Я заплатил за него всего 40 франков, а крепость – 42 процента? Хорошо?!

– Если не возражаешь, я разведу его водой.

Даниэль идет за водой, а пока ищет, я успеваю опрокинуть пару рюмашек вне очереди. Он все еще не может найти воду. Во мне поднимается желание пропустить четвертую. Устоять не могу. Жарко. Чертовски жарко. Действительно, что еще делать в такую погоду, как не пить. Что делать, когда безумно холодно? Что делать, когда ни то ни се? Мне уже получше, поэтому изучаю бронзовую поверхность столика, на которой стоит бутылка рома. Меня прошибает пот.

– Вообще-то я не пью, – говорит он, держа в руке бутылку воды.

Эта его фраза меня всегда не на шутку нервирует. Слышу ее каждый раз, когда мы усаживаемся хлебнуть. С удовольствием крикнул бы ему «А я пью!», но сдерживаюсь, так как в такую жару нет никакого желания злиться, да и злиться не из-за чего. Просто мне приятно выпить, а ему – нет. Это очень просто. Недавно он пожаловался, что, когда жил в Вене у друга-вегетарианца и занемог, тот заставлял его каждый день в течение недели выпивать по пять литров чая. Выздоровев, Даниэль вылетел из Вены как пробка из бутылки шампанского. Эту поездку в Австрию он вспоминает с нескрываемой досадой. Теперь я мог бы ему напомнить, что было время, когда он тоже пил, однако сдерживаюсь.

Ром крепкий и не очень хорошего качества. Жидкость мутновата, но это не проблема. Она действует на меня положительно, и, если бы бутылка уже была пуста, я, может быть, даже сел бы за письменный стол. Благодарение Богу, она наполовину полна, поэтому эрекция мозга мне не грозит. Теперь я наливаю.

– Было бы хорошо как-нибудь купить джина... – Я пытаюсь заманить Даниэля в ловушку.

– Можно, – без особого энтузиазма соглашается он. – Пришлось бы разводить с тоником, купить лимон.

– Можно и без тоника. И без лимона.

– Терпко.

– Это только сначала так кажется. А выпьешь половину – идет, как вода. Еще даже лучше, чем вода, потому что вода тяжестью ложится, а он, наоборот, расслабляет. Я пил джин, смешанный со спиртом. Совсем неплохо!

– Мне надо работать.

Он садится за компьютер, а я снова наливаю себе. Даниэль меня не видит. Он весь погружен в экран, на котором время от времени вспыхивают непонятные мне цифры, знаки, таблицы, графики. Когда он работает, то ничего вокруг не видит, ничего не слышит, ничего не чувствует. И это не притворная углубленность в технологический шедевр. Он теперь попросту закабален. Я мог бы делать неприличные движения. Мог бы во все горло кричать, орать, визжать, ругаться самыми непристойными словами – он бы и бровью не повел. Он работает и демонстрирует титаническую сосредоточенность и силу. Не могу надивиться. Мне немного стыдно, что я ничего не делаю. Неудобно, что пью. Действительно неудобно.

Еще только два часа дня, а я уже пьян. Мог бы выйти в город, но никто меня там не ждет, да и жара эта непереносима. Не представляю себе, что бы я мог в этом городе сегодня делать. Кладбища культуры меня не интересуют, тем более что все так называемые шедевры и

без того торчат в моем сознании. Я даже хотел бы избавиться от них, поэтому не может быть и речи о Лувре, Д'Орсе и других монстрах-гигантах. Наблюдаю за работающим Даниэлем. Мне приятно видеть, как в этом помещении рождаются новые смыслы, взгляды, теории. Чувствую, что и сам приобщаюсь к лингвистической науке. Даниэль, словно сомнамбула, поднимается со стула, идет, пошатываясь, к проигрывателю и запускает на полный гром «Реквием» Верди. Возвращается назад и снова вперивает взгляд в компьютер. Меня даже не замечает. А я опять подливаю себе. Траурная музыка льется через окно на смердящую улицу. Боюсь, как бы не разбудила мороженных рыб.

Насилую свою память, чтобы вспомнить кого-нибудь, кому можно было бы сейчас позвонить, однако все претенденты наводят тоску, как бухгалтерские отчеты. Никого не хочу видеть, ни с кем не хочу встречаться, да и ради чего встречаться? Знаю, что сам ничего не могу им предложить, да и они мне ничего не предложат. Знаю еще и то, как, услышав мой голос в трубке, они насторожатся и, слишком уж быстро сориентировавшись, скажут, что как раз сейчас нечеловечески заняты, что у них проблемы, заботы, которых, вероятно, убавится в будущем месяце, а может, только через полгода. Все это я тоже знаю, знаю наизусть эти ответы. Нет, лучше уж сидеть здесь, прилебывать ром, смотреть на работающего Даниэля и не мучиться, что попусту тратишь время. Все прекрасно. И нисколько я не волнуюсь из-за того, что почти уже пьян, весь в поту и усыпан пятнами, потому что подумал, что тоже мог бы писать. Ладно, хватит обо всем об этом. Хватит.

Пробую листать журналы, но не удается. Мода меня не интересует, коррупция тоже, неинтересна и жизнь аристократии, членами которой мы с Даниэлем отказались быть, так как «все они снобы». Такова оценка Даниэля, с которой я согласен, хотя меня нисколько не волнует, снобы они или кто еще. Это их дело. Пусть себе волнуются. Пусть обосрут.

Да, я уже здорово пьян. Иду залезть под душ. Стою голый и пускаю на себя ледяную воду. Все еще жарко, а на голову будто спускается какой-то абажур. Ничего не вижу, забываю, что не закрыл дверь. Ладно, он все равно еще часа два будет работать. Вода освежает. Она никогда не разочаровывает. Чувствую, что качаюсь. Как маятник – маятник Фуко. Амплитуда увеличивается.

– Уже закончил, – торжествует мой друг и ученый. – Сегодня написал двадцать листов, систематизировал предыдущие данные, исправил ошибки, которые возникли, когда что-то менял, что-то дополнял. Мог бы еще поработать, но не хочу перенапрягаться.

Стою перед ним голый и без особых усилий прихожу к выводу, что мне перенапряжение не грозит. Стараюсь уменьшить амплитуду качания. Это удастся, однако мои силы небеспредельны. Вылезаю из ванны, вытираюсь зеленым полотенцем и чувствую, что снова весь мокрый от пота.

– Хорошо выкупался?

– Замечательно.

Даниэль наливает ром, которого мне в этот момент хочется меньше всего. Он прямо-таки светится. Он сияет и обжигает меня своими лингвистическими знаниями. Меня это должно бы взбесить, но я не нахожу в своей душе и самой ничтожной крупинки злости. Он разминает спину и усаживается на пол у столика, на котором стоит все еще наполовину полная бутылка рома.

– Выпьем. Сегодня поработали.

– Выпьем. Я выпью половину, – говорю я, однако опрокидываю и проглатываю весь стаканчик этой жидкости.

Хуже не будет – пробегает и прячется от совести мысль.

Что мне здесь не грозит, так это голод. С утра до вечера расхаживаю с вздувшимся животом. В последние дни напоминаю рахитика. Хорошо, что в этом городе нет пляжа: очень

уж неудобно было бы демонстрировать эту аномальную и выродившуюся фигуру, владельцем которой я являюсь. Мой живот поистине впечатляет. Какой-нибудь остроумец мог бы назвать меня беременным мужчиной, которому через неделю подоспеет время рожать. К сожалению, рожать мне не нужно, хотя я бы с удовольствием порожал, только бы избавиться от живота – дискомфорт от него все сильнее. Нужно меньше есть и больше двигаться. Для таких деяний не нахожу в себе воли. Жаль.

Я тут объедаюсь, пережираю и все глубже погрязая в грехе. Надо бы сходить на исповедь, да уж ладно. Стыдно было бы признаваться, что я так много ем. Вспоминаю героев, которые пять десятилетий назад разгуливали по этому городу с пустым животом и мечтали, где бы поесть. Времена меняются. Я перенасыщен всем – добром, искусством, философией.

Даниэль готовит еду. Сегодня мы будем есть алжирский кускус. Он пару лет жил в Алжире и в кухне до сих пор не может избавиться от восточных предрассудков. Мне все равно.

Накрываю на стол, расставляю тарелки, ставлю бокалы для вина. Настроение поднимается: дело в том, что я уже успел опьянеть от аперитива – выпил две рюмки текилы, которую Даниэль мне подал, насыпав туда соль и помочив в ней тряпку. Пахнет вкусно, однако мне плохо от этого вкусного запаха. Откупориваю бутылку алжирского вина. Нюхаю пробку. Прекрасно! Воняет. В этой стране все, что воняет, прекрасно и свидетельствует о высшем качестве продукта: сыры, вина, носки, улицы, счета, мысли, путешествия. Пробую вино, оно сладкое до тошноты. Меня передергивает.

– Ты любишь острое? – кричит он мне из другого конца комнаты.

– Да, очень!

Вижу, что Даниэль бросает в кастрюлю пару пригоршней перца. Делаю вывод: немного. В этот миг он в эйфории. Вспоминаю, как совсем недавно он признался мне, что все еще мечтает иметь ресторан. Языкознание – всего лишь каприз. Оно требуется ему для того, чтобы излить энергию. Правда, зачем заниматься шумерскими пиктограммами, если в это время можно готовить еду, что доставляет не меньшее удовольствие, чем знание о том, как египтяне представляли космос и загробную жизнь? Эпоха постмодернизма много от чего отреклась, много от чего отрекается, однако не отваживается поставить под сомнение традицию еды. Она непоколебима и стабильна – последняя неоспоренная ценность. Меня радует, что я прикоснулся к ней. Отпиваю еще вина. Действительно хорошее, хоть и немного приторное, перекачивается во рту.

– В такой вечер мы можем прогуляться, – говорит он мне, когда мой живот уже упирается в пол.

Подумать не могу о прогулке, так как хочу только одного – спать. Хочу немедленно рухнуть в кровать и спать – час, два, три, четыре. До утра. Мне наплевать на этот город, ночные фонари, увеселительные заведения, концерты, кино, посиделки в кафе. Хочу только одного – сна. Я сыт, а теперь хочу спать. Стараюсь представить себе, что в эту минуту могло бы меня так заинтересовать, чтобы я вскочил со стула и стремглав полетел к мнимой цели. Не удается. Ничего не нахожу. Только сон. Сон, хотя и выпили-то всего с полбутылки вина. Хочу спать, и к тому же я толстый, так что больше мне ничего не надо. Даже Сократ не убедил бы меня в том, что мне чего-то еще не хватает.

Пока бы он объяснял, я бы спал. Платон, конечно, был бы очень недоволен. Может, даже злился бы, но мне плевать – я хочу сна. Это немного, если учесть, что миллионы людей в это мгновение хотят ставить фильмы, выигрывать на бирже, искать библейские города, делать детей в космосе.

Закуриваю и заставляю себя думать о Ренессансе: Боттичелли, Рафаэль, Микеланджело, Браманте, Гирландайо, Джотто, Филиппино Липпи, Дюрер, Джорджоне, Леонардо да Винчи, Фра Анджелико, Лукас Кранах, Брунеллески и другие. Устал. Устал. О конце мира: «Пятый знак будет такой, что поднимется в Европе один король, который большие дела сделает. Сна-

чала, постоянно воюя, укрепится в одном королевстве Западного края, людей возьмет в свою власть, а убьют того короля страшной смертью. Тот король будет без королевского венца...»

– Можем сварить кофе, – соблазняет приятель. – Очень хороший кофе. Покупаю его чуть подороже, но того стоит. Иной раз лучше дороже заплатить, зато наслаждаться качественным кофе. Понюхай.

Нюхаю подsunутый мне пакет. Кофе действительно хорошо пахнет. Его аромат на мгновение даже перебивает уличный смрад. Ненадолго. Наркотический сеанс кончается. Даже не успел опьянеть.

– Можно сварить. С удовольствием выпью, если ты сам все сделаешь.

– Да, конечно.

Мой друг до безобразия услужлив. По-прежнему сижу, даже не стараясь подняться. Пытаюсь размышлять на метафизические темы: метаязык, метатеория, метапсихоз. Вспоминаю, пифагорейцы учили, что наше нынешнее состояние души ненормально. Да, это правда. И что с того? Легче не стало. Я ненормально пережрал. Не хочу облежаться, поэтому, совершив мысленный прыжок, подступаю к культу Святой Девы. Феноменально: еврейка, чудесным образом родившая и оставшаяся девушкой. Невероятно. Отрыгиваю кускусом – пищей бедняков и пастушат. Кажется, Святая Дева мне помогла. Уже переваривается. Вроде и полегчало. Благодарение Богу, больше не надо думать. «Антропология – это теоретическая попытка человека разобраться в самом себе», – пробегает неизвестно откуда забредшая цитата.

– Раньше выпивал по пятнадцать чашек кофе каждый день, – хвалится Даниэль, когда я прошу вторую. – Потом перешел на чай. Он мне нравится. Похож на апельсиновый сок.

Молчу, потому что чай терпеть не могу. Пока он наливает, начинаю думать о сексуальной жизни горожан в Средние века. Не успеваю.

– Через месяц уезжаю в Пакистан и Китай. Полечу в Карачи. Там меня уже будут ждать друзья. Попытаемся пойти в Тибет. Если не получится, отправимся в Пекин. Мне осталось еще пять прививок. На следующей неделе обещали дать визу. Пить буду только кипяченую воду, потому что можно заразиться...

В тысячный раз слышу, что он отправляется в Азию, где надеется познакомиться с людьми, мыслящими иначе. Делаю вид, что Китай меня тоже влечет. Лгу, что в жизни мне еще не довелось встретить людей, мыслящих иначе. Ничего не хочу рассказывать. Он прочел одну книгу о Пакистане и узнал, что надо обязательно купить себе сапоги. Уверен, что гостиницы не понадобятся, так как в кодексе поведения мусульман вычитал наказ «Путнику дай ночлег». Наказом он решил воспользоваться. Исключительно для этого накупил пару дней назад мелких долларовых купюр. Ими будет благодарить хозяев и вдохновлять их на продолжение жизни в соответствии с наказами пророка Магомета. Молчу, потому что добавить мне нечего. В Пакистан меня не тянет, хоть там и очень красивые горы и гостеприимные люди.

– Налей еще кофе.

Протягиваю чашку, в которую он наливает мой любимый остывший кофе. Дневная жара спадает, а мой живот раздувается еще больше. Кажется, сейчас взорвусь, как петарда, пущенная в день взятия Бастилии. Чувство такое, словно сделан из кускуса и кофе. Тело мне больше не принадлежит. Мозг тоже.

– В Пакистане только один университет.

– Неужели? – осведомляюсь я, хоть меня и не интересует система просвещения этой страны.

– А им больше и не надо – девяносто процентов жителей Пакистана неграмотны.

– Но их премьер-министр просто очаровательна. Еще управляя страной, сумела забеременеть. Я видел, как она, беременная, читала годовой отчет. Впечатляющее зрелище. Мужчины должны были бы ей завидовать. Не каждый, управляя стомиллионной страной, находит

время для удовольствий. Интересно узнать, кому в тот раз принадлежала инициатива – ей или ее партнеру?

Приятелю эта тема неинтересна. Сидит погрузневший. Он всегда начинает грустить, когда я завожу речь о сексе. Пытаюсь исправиться:

– А тебе не странно, что мутакалимы, борясь с мутазилистами, испытывали влияние их рационалистической теологии?

– Мутакалимы тоже старались рационалистично обосновать тезисы Корана. Тут ничего странного.

– Да, конечно, однако для мутазилистов Коран был не вечным, они считали его лишь одним из созданий Аллаха, которое можно объяснять аллегорически. Кроме того, они не были ортодоксами. По крайней мере, такими ортодоксами, как мутакалимы.

– Имей в виду, что в девятом веке мутазилистов преследовали как еретиков, и только позднее они возродились в ашаризме. Да и то лишь в десятом веке.

– Ты забываешь, что важнейшие их идеи до сих пор сохранились в шиизме.

– С шиитами мне не довелось столкнуться. Они обосновались в Иране, Ираке, Ливане. До Пакистана они не добрались. Не хочу утверждать категорически, однако это доказывает, что их учение не нашло подтверждения. Его исповедует лишь небольшая часть исламского мира. То же могу сказать и о мутазилистах.

Теперь он оживает. Светится, как рентгеновский аппарат, у которого вот-вот сгорит предохранитель. Мне становится безумно грустно, так как я не понимаю, ни что он говорит, ни что я сам только что сказал. Если бы пришлось повторить – умер бы.

Это все моя феноменальная память, позволяющая нон-стопом цитировать когда-то прочитанные книги, тексты, стихи. Но только один раз. Прочитывая, я словно освобождаюсь ото всех этих теорий, сентенций, мыслей, фактов, которыми когда-то мне набили голову и которые якобы сделали меня культурным европейцем. Если он так хочет, я ему еще погоню...

– Ты помнишь Лейбница, объяснявшего, что мир состоит из монад, а Бог является всего лишь наиболее совершенной монадой? Помнишь? Помнишь. Ты знаешь, что монады развиваются самостоятельно в соответствии с установленной Богом внутренней закономерностью и всеобщей гармонией взаимных отношений. Это ты знаешь. Так вот, если говорить о познании, то Лейбниц обрисовал его таким образом: восприятие и все, что от него зависит, необъяснимо механическими причинами, то есть формами и движениями. Если, скажем, есть машина, строение которой позволяет ей думать, чувствовать, воспринимать, можно будет представить ее себе немного увеличенной...

– Я пойду подогрею кофе, – капитулирует мой друг, не выдержав давления немецкой философии. – Ты будешь еще?

– Да, с удовольствием выпью, – помогаю я ему и себе, так как Лейбниц – большой зануда, который сумел привести меня на грань безумия, когда я пару недель корпел над его трудами, надеясь немного больше узнать об этом мире.

Ничего от Лейбница я не узнал, ничего для себя не уяснил, а он как был, так и остался незыблемым классиком. Это недоразумение и аномалия. Подальше от него. Подальше от них всех. Первым, между прочим, сбегает Даниэль, хоть он и мечтает преподавать философию в Лилльском университете. Не знаю, где можно было бы отыскать гармонию.

Кофе на столике. Мы пьем и молчим. Со стены на нас смотрит Распятый. Он прикрыл глаза, так как знает все о познании, Лейбнице и даже студенческой революции в Париже.

Молчим втроем.

Воняет.

Вечером гуляю по Монпарнасу, когда-то распускавшему легенды, в которые верил весь мир. Недоучки, невежи и аферисты сумели убедить буржуев в том, что неповторимы, гени-

альны, а потому за них стоит дорого платить. Золотой век Монпарнаса кончился. Теперь здесь живут кинозвезды, получающие миллионные гонорары, какие-то восточноевропейцы, которые вовремя поняли, что такое невыносимая легкость бытия. Вижу их теперешнее бытие, его весьма трудно назвать невыносимым, хотя они и пытаются всеми способами писать по-французски и, как сами говорят, одолев одно предложение, чувствуют себя так, словно взобрались на Эверест. Я им не завидую. Иду, засунув руки в карманы. Хорошо ничего не делать.

Не могу налюбоваться красавицами, управляющими автомобилями. Долго стою у светофора, хоть здесь и не Германия. Надеюсь дождаться какую-нибудь еще красивее. Удастся. Она ведет красный «Ягуар». Пожилая. Мне зеленый, ей красный. Не иду. Смотрю на нее. Зажигается желтый. Она замечает меня и, трогаясь, машет рукой. Для меня это как эликсир.

– У нас не принято так разглядывать женщин, – стыдит меня Даниэль, хоть и сам не без греха.

– Мне плевать, что у вас принято.

Он недоволен таким ответом, однако больше эту тему не развивает. Конечно, теперь он мог бы прочесть мне лекцию об этике в Западной Европе: как здороваться, как общаться, как подавать руку, как целоваться и т. д. Сдерживается. Сообразительный.

Бродим по узеньким, занюханым улочкам, так как мой приятель убежден, что я в жизни не видел грязи. Он медитирует перед кучами мусора и ностальгически объясняет, что каких-нибудь полсотни лет назад весь Париж был такой. Все это он вспоминает как нечто величественное и поразительное. Пораженная грибок стена дома для него словно какое-нибудь чудо света, уж никак не хуже, чем висячие сады Вавилона или египетские пирамиды. В какой-то момент, когда он останавливается перед такой стеной, мне кажется, что он растроган. Как ни стараюсь, не могу понять причин этого волнения. Мне такая ностальгия чужда.

Кажется, ни в одном городе мира собаки не срут так, как в Париже. Снова вляпываюсь в собачье говно, в эту минуту я очень недоволен собой. Говно не только вымазало мне подошву ботинка, но и попало на штанину. Нахожу среди мусора палку и начинаю скрести. Романтики ни крупинки. Даниэль радуется, что остался культурным западноевропейцем. Говно сразу не отскребается. Должно быть, бульдожье, думаю.

– Собакам в этом городе запрещено срать, – утешает меня, хоть и неудачно, Даниэль. – Если полиция застанет пса срущим, хозяину придется платить штраф.

– Да, конечно, но собаки, как и люди, все равно срут.

Мне плевать, что взимают штрафы. Теперь важно счистить это бульдожье говно, которое, кажется, просочилось сквозь подошву. Оно не только не отскребается, но и воняет.

– Однако штраф с человека за сранье в общественном месте не предусмотрен, – продолжает анализировать проблемы городской санитарии приятель. – Вот я мог бы в эту минуту на глазах у всех обоссаться, посрать, однако ко мне никто бы не применил параграфа о загрязнении города. Нет такой статьи для людей. Для собак есть, а для людей нет. В таком государстве живем.

И от этого пассажа мне не легче. Говно ужасно действует на нервы. Ботинок изуродован не только со стороны подошвы, но и по бокам. Ботинки жалко. Сейчас их жалко даже больше, чем семерых астронавтов, бессмысленно погибших в атмосфере. В какой-то момент мне слышится даже, словно ботинок плачет. Нет, показалось. Все равно мне его очень жалко. Терновый венец стягивает мне сердце. Сладость прогулки по Монпарнасу горчит. Говно не поддается.

– Если бы я сейчас посрал, – наслаждается темой опоражнивания Даниэль, – полиция имела бы право меня задержать. Однако они могли бы меня обвинить только в нарушении общественного порядка или в сексуальной провокации. Насчет человеческого сранья никакой статьи нет. Как и насчет ссанья.

Соскребаю с подошвы кусок говна. Пытаюсь стряхнуть его с палки. Не получается. Тру палку о тротуар. Прохожие с немалой долей подозрительности следят за мной. Видно, думают,

что я сумасшедший, в свободное время забавляющийся с говном. Никто и не подозревает, что в моем мозгу говорит Гегель: «Любовь вообще означает постижение того, что я и другой – одно, постижение того, что я не изолирован сам по себе, а осознаю себя, только отказываясь от существования в себе самом».

На мгновение прерываю умственную деятельность. Даниэль на меня и не смотрит. Запрокинув голову в небо, он философствует.

– Я даже мог бы заняться мастурбацией, и никто бы меня не обвинил в нарушении санитарной гармонии города. Это была бы только сексуальная провокация...

Не слушаю больше его рассуждений – терпение кончилось. Однако я рад, что философ спустился с парнасских высот и разбирает теперь насквозь земную тему. Не будь того говна, присоединился бы к нему, превратил бы монолог в диалог. Увы.

– Нужно найти фонтан.

Идем к воде. Нет, креститься не собираюсь. Хочу только обмыть ботинки. С другой стороны, и изговнявшись мог бы гулять по городу, как воняющий, невымытый гулял в этом районе Хаим Сутин. Мог бы даже завернуть в ставшую шикарным местом «Ротонду», однако вряд ли был бы понят. Времена меняются. Нужно мыться. Прошло то время, когда ценили красоту эмигрантской души. Теперь в вымазанных говном ботинках далеко не уедешь. Ехать никуда не собираюсь, но и стоять, изговнявшись, тоже не хочу.

Оказываемся на узкой улочке недалеко от фаллоса Монпарнаса. Словно вражеская армия, со всех сторон нас окружают магазины секса и театры. Последние в меньшинстве.

– Когда-то в этом районе располагались одни публичные дома. В то время и театральная культура процветала, – объясняет мой спутник. – Девушек тут встречалось больше, чем теперь в Сен-Дени. После спектакля можно было завернуть к ним и расслабиться. Мне не пришлось этим воспользоваться.

Я все молчу, осматриваюсь по сторонам. Ветеранов в этом славном месте увидеть не надеюсь. Их и след простыл – жизнь здесь кипела с полсотни лет назад. Только и осталось каких-нибудь пять театров. Они трогательны, как и воспоминания, по сей день удостоверяющие, что было такое время, когда этот город называли столицей мира. Теперь на фасады театров наклеены плакаты, с которых смотрят дебилские морды, якобы соблазняющие зайти полюбоваться их искусством. Одни только лица вызывают у меня аллергию. Стараюсь представить их себе на сцене театра. Жуть пробирает. Никто не заставил бы меня купить билет. Никто не соблазнил бы полюбопытствовать, что же они там играют.

– Может, вернемся домой? Сварим кофе, побеседуем, – предлагаю я, когда Даниэль начинает увлеченно изучать репертуар Итальянского театра. – Можем даже в карты поиграть.

Он тоже равнодушен к сегодняшнему французскому театру. Ему неприятно, что они такие недалекие, да еще провозглашают себя пупом земли. Он отскакивает от репертуара, бросив: «Говно!»

Двигаемся к дому. Еще десять минут и опять попадем в тиски вонючей Кастаньяри.

– Смотри, Даниэль, завтра демонстрация педерастов! Мы непременно пойдем, – говорю я примолкшему другу, увидев объявление на углу улицы.

Стою один в стратегически удобном месте. Передо мной открывается перспектива улицы. За спиной вибратор Монпарнаса – мечта нимф. Мой приятель идти отказался. Бойся быть замеченным студентами – бережет свою репутацию хорошего преподавателя и гетеросексуала. Старался убедить его, что такие предрассудки в конце двадцатого века просто чужь. Не помогло. Не спасло даже предположение, что, будь жив Фуко, он бы пошел вместе с нами. Пошел бы, может быть – даже в первых рядах. Ему Фуко не авторитет. Ну и ладно. Меня не волнует, что я стою один. Наоборот, поскольку не хочу выделяться, горжусь кольцами, которых нацепил на себя добрую дюжину. Одно жалко – не успел вдеть в ухо серьгу.

Сексуальные меньшинства понемногу собираются. Не могу избавиться от воспоминаний, поэтому чувствую себя так, словно поджидаю появления танков, самолетов, украшенных ядерными боеголовками ракет. К сожалению, будущее действо сулит совсем другие впечатления. Стою рядом с одной парой, решившей присоединиться к демонстрантам попозже. Они целуются. Это, конечно, всегда приятно. Он великан, а его приятель – карлик. Второй, правда, страдает болезнью Дауна. Его лицо не светится интеллектом, но и без этого свечения ему очень даже хорошо. Они любят друг друга. Вот великан почесывает его за ухом, ласкает стан. Мне опять несколько не по себе из-за того, что я один. С другой стороны, в такой день нетрудно найти себе друга, однако от страсти я не сгораю. Сгораю от любопытства, пусть и осужденного другом.

Когда я заявил Даниэлю, что пойду на демонстрацию, его эта идея не пленила. Сказал, что единственный раз участвовал в каком-либо шествии. Вместе с президентом, когда фашисты утопили в Сене божью коровку – марокканца. Так что он отказался. Эта мысль не оставляет меня в покое, однако своей озабоченности я не показываю.

Меньшинства продолжают собираться. Никого не волнует, что опаздывают уже на час. Ничего удивительного: такой праздник бывает всего раз в году – можно и подождать. Встречаются старые друзья, когда-то расставшиеся, когда-то предавшие, когда-то высказавшие все, что думали друг о друге. Воцаряется любовь и взаимное доверие. Нет, мне все же неприятно, что я один, как последний дурак, да еще и иностранец. Мысленно обзываю приятеля несколькими нецензурными словами. Безусловно, так поступать нельзя.

Улица уже полна народом. Движение остановлено. Мечутся телерепортеры, пытаюсь отыскать лучшее место в мире. Жители улицы, кто любопытнее, уселись на крышах. Спровоцировать их не удастся. И никто не приглашает репортеров к себе в дом, на балкон, в мансарду. Их в этот момент мне жаль меньше всего. Они здесь самые беспокойные, однако меньшинствам плевать на их душевное состояние. Сегодня праздник меньшинств, он бывает лишь раз в году. Примерно как у католиков Святое Рождество. У всех свои праздники, даже у японцев, которые, несомненно, лучше всего разбираются в микросхемах – параличе гуманитарных мозгов.

Музыка гремит на полную мощь. Я стою на тротуаре и не отстаю от других – покачиваюсь в такт, то есть делаю вид, что праздник мне безумно нравится. Никто и не подозревает, что я кокетливо блефую. Все доверчивые. Даже грустно, какие доверчивые. До безумия грустно и жалко. Особенно того, который так старался прижаться ко мне. Аристократическим жестом руки я отогнал его прочь, дав понять, что при других обстоятельствах, в другой день и если бы я был в другом настроении, неизвестно еще, ох неизвестно, как бы повернулась его и моя судьба. Он оказался очень сообразительным. Пошел искать счастья в другом месте. Провожая его глазами, я подумал, что и он одинок, как я или как мучающийся в Варшаве литовско-польский график.

Все еще не начинают, меня уже охватывает беспокойство. Немного устал вибрировать, словно изделие из магазина интимных принадлежностей. Нет, я не прав – такие изделия никогда не устают. Они аномально живучи, поэтому и хоронят надежды сильного пола на врожденные силы. Их можно было бы запретить...

Началось. Началось! По бульвару двинулись первые колонны. Впереди, как обычно, шагают регионы. Перед моими глазами проплывают Нормандия, Эльзас, Бретань, Лотарингия... Все с флагами, лозунгами. Да Та-а-ак, физически неполноценных людей надо уважать, поэтому за регионами следует Союз немых геев. Они безмолвны, зато их много – сотня, две сотни, три. И все немые! Прошла эта колонна тишины – двинулись лозунги, красные флаги, плакаты, гвоздики в петлицах, молоты, серпы, мушкеты и косы: Союз коммунистов-педерастов. Они настроены по-революционному и, как всегда, обещают лучшую и более разумную жизнь. Никто им давно уже не верит, однако они существуют. И все приятные, рослые, коротко стриженные, любят спортом заниматься. Этого нельзя сказать о следующем за

ними Союзе троцкистов-гомосексуалистов. Последние совсем некрасивы, хотя и маскируются жутким макияжем. Здоровые и брызжущие энергией, шагают мимо педерасты-вегетарианцы, почему-то они держат в руках не овощи и фрукты, а фаллические символы, которые после мастурбации выстреливают водяными струями в тех, кто присоединяется к манифестации. На меня тоже немного попадает. Я доволен: жарко, и поэтому не вытираю рукой голову, где приютилось символическое семя вегетарианца-гомосексуалиста, наверное очень живучее и полное сперматозоидов. А вот подходит и Союз евреев-геев, на транспаранте они несут звезду Давида. Им на пятки наступают арабы-гомосексуалисты, они непривычно дружелюбны – ив голову не придет, что собираются вскоре взорвать парижское метро. Пауза. Впереди уже началась давка, поэтому я могу полюбоваться представителями Клуба педерастов-металлистов, украшенных неизменной своей атрибутикой: цепями, дубинами, кожаными куртками редкой красоты, черными блузками, утыканными металлическими заклепками. Конечно, их и сравнить нельзя с немymi – смиренными райскими овечками. Металлисты кричат, делают неприличные жесты, от которых сами еще больше возбуждаются. Окружающие меня наблюдатели равнодушны. Сразу понимаю, что им этот союз не нравится. Какой нравится? Не знаю. Проходит Клуб педерастов-рокеров. Точнее, проезжает, пролетает, проносится. С большим достоинством шагает мимо Союз педерастов-родителей. Вслед за ним – Союз лесбиянок, Ассоциация трансвеститов, Союз педерастов-студентов, педерасты-социалисты. Распевая красивую песню, проходит Смешанный хор педерастов и лесбиянок. Песня зажигает моих соседей. Они не выдерживают и присоединяются. Остается лишь думать, что они – бывшие музыканты. Необыкновенно роскошно наряженные, проходят представители Союза геев – производителей шампанского. Не новость, что все они чрезвычайно богаты. Пожалуй, богаче тех, кто называют себя членами Клуба геев – любителей собак. Не могу представить себе, что эти собаки тоже геи. Нет, скорее всего, я ошибаюсь. А может?..

Рядом со мной встает бабуся. Ошибся. Опять обманулся – старичок, наряженный в желтоватые носки, короткую юбочку, жилетик и с грудями, уход за которыми, видимо, довольно неплохой: они плотные, жесткие, соски, словно кубинские сигары. Старичок охвачен, возможно, чрезмерным восторгом. Однако я ему прощаю. Может, это его последний праздник? Даже не замечаю, из какого союза мне вручают презерватив. Я чрезвычайно люблю получать подарки, поэтому бросаюсь читать инструкцию: «Он смазан специальным составом и приспособлен даже для сосания». Это для меня неожиданность. Я несколько теряюсь. Размышляю: до или после его надо сосать? Мог бы справиться у старичка, однако он уже встретил другую «бабусю». Кажется, давно не виделись – тискают друг друга, гладят, вытирают друг другу слезы. Явно давно не виделись. Не буду мешать.

Теперь подарки на меня сыплются как из рога изобилия: получаю приглашения на дискотеки, в бары, кафе, рестораны, сауны, спортивные комплексы, тир, манежи, специализированные магазины. И всюду бесплатно. Начинаю чувствовать себя необходимым. Сердце тает, пока я изучаю купон стоимостью десять франков, позволяющий наполовину бесплатно выпить чашечку кофе в сауне для геев. Почти соблазняюсь, потому что совсем рядом, да еще в такой день.

– Еле тебя нашел, – прерывает мои размышления и подливает ложку дегтя в бочку меда невесть откуда вынырнувший Даниэль. – Думал, что так и не увидимся.

– Значит, не выдержал?

Он останавливается на полуслове, потому что как раз в этот момент мимо нас проходит Союз педерастов-пенсионеров. Он совсем невелик – каких-то пять пенсионеров. Им трудно идти, однако держатся. Из последних. Один уже устал, поэтому другие два ведут его под локотки. Четвертый едет на моторизованной инвалидной коляске. Пятый несет транспарант. Все умиляются. Умиляюсь и я. Плачут пенсионеры, вспоминая прошедшую молодость и утраченную твердость мышц. Плачут присоединяющиеся, увидев, что их ожидает. Все

начинают дружно хлопать. Аплодисменты перерастают в овации. Кто-то подбегает и вручает самым стойким пенсионерам цветы. Овации еще более бурные. Пенсионеры машут цветами. Они идут очень медленно, словно специально стараясь доставить как можно больше удовольствия наблюдающим за ними. Инвалидная коляска начинает дергаться – кончились батарейки. Помочь бросается пара лесбиянок. Оставив флирт с другой семьей, они толкают коляску ветерана – к сожалению, без медалей – в направлении Бастилии. Все с облегчением переводят дух.

– Даниэль, мы присоединимся к Лиге педерастов-анархистов и двинемся к Бастилии.

Мой друг колеблется. Теперь в нем борются профессор университета и анархист. Побеждает второй. Мы идем в сторону Бастилии. Идем туда, где когда-то де Сад трубил в трубу.

На полную наслаждаюсь гениальностью Фрэнка Заппы. Его искусство исходит из самого сердца, и не только из него. Наши соседи очень терпимы, а может, и нет. Может, они тоже его любят, недавно умершего, теперь меня развлекающего, забредшего из семидесятых. Заппа шутит. Заппа ругается. Заппа плачет. Заппа жалуется. Шкала беспредельна, и я хочу, чтобы никогда не кончалась эта оргия музыки и текста.

Лежу на полу, закинув ноги на ритуальный мусульманский столик. Все еще жарко, все еще не знаю, что делать, за что взяться, каким образом, какими средствами развеселить этот город. Голова пуста, словно побежденный вирусом компьютер. Она не рождает мыслей, монографий, диссертаций, докладов. Ее опьянили эксперименты лос-анджелесского маэстро. В этот миг меня не интересуют ни прошлое, ни настоящее, ни завтрашний день, доставляющий постапевшим немало забот. Не стал бы утверждать, что это блаженное состояние. К сожалению, оказаться в другом не удастся, хотя, впрочем, я этого и не хотел бы.

– Сегодня больше есть не будем, – возвращает меня из комы Даниэль. – Пойдем ужинать к моему приятелю. Он – неисправимый гурман. К нему придешь – уйти не можешь. Так, бывает, отяжелеешь.

Весьма скептически реагирую на эти его слова. Больше есть не будем. Не знаю, что значит «больше», однако он уже умял гуся с картошкой и салатом. Последние я был вынужден съесть сначала. И только после этого – гуся.

Снова обожравшись, сижу за столом, даже не помышляя о том, чтобы куда-нибудь двигаться. Зачем?! Для чего?! Почему я должен опять куда-то тащиться?! Это недоразумение. Этот его засранный приятель живет в восточной части северного Парижа. Значит, придется добрый час толкаться в метро. Ради чего?! Я поел и совершенно не хочу заводить новых знакомых, которых и так достаточно. Для чего нужны все эти знакомые, если тебе ничего от них не нужно?! Для чего они вообще существуют – те знакомые, от которых пользы как от козла молока или от коровы спермы? Их вполне успешно может пронести и без меня. Примерно как у Геббельса слово «культура», так у меня слово «знакомые» вызывает аллергию, безнадежность, бешенство и безумие. Я прекрасно без них обхожусь, а теперь еще и поел. И действительно не вижу никакой причины, которая заставила бы меня отправиться в тот северный Париж, заселенный арабами, фундаменталистами и извращенцами, притворяющимися кинопродюсерами.

– Нам обязательно нужно к нему пойти, так как он ждет.

Хотел бы сказать: пусть ждет, – однако улыбаюсь и замечаю, что очень приятно встречаться с новыми людьми, особенно такими, которые приглашают в гости на ужин. Хочу добавить, что приглашение на ужин, завтрак или второй завтрак – это наилучшая мера человечности, исходя из которой можно делать очень широкие выводы о человеке, его воззрениях, поведении, составе семьи и даже сексуальной ориентации. Сказать это не успеваю, так как должен убрать со стола и выкинуть с тарелок обглоданные и наполовину обглоданные гусиные кости.

Гусь был изумительный. Не представляю, что бы его сегодня могло превзойти. Я бы сказал, что даже провозглашение меня Великим Двигателем Вселенной не могло бы сравниться с

гусем, а потому, пока Даниэль не видит, засовываю в рот кусок мяса. Вовремя успеваю стереть жир с губ, так как он уже рядом со мной – меняет Фрэнка Заппу на Игги Попа. Я так сыт, что даже не возражаю.

Мне теперь все равно, мог бы выразиться и посильнее. Сильнее не выражаюсь, беру себя в руки.

После гуся появляются и мысли. Размышляю о том, что было бы, если бы человек, съев какое-нибудь животное, стал бы испражняться его детенышами. Например, съел страуса – и высирал бы его яйца. Тюленя – выводил бы через задницу тюленят. Антилопу – антилоп. Были бы тогда даже специальные службы, проверяющие, придерживается ли гражданин установленных в обществе норм и традиций, то есть разводит ли гражданин индюков, скворцов, голубей, заботится ли о вышедших с испражнениями дельфинах, моржах, пингвинах. Думаю, не всех бы тогда прельстила возможность попробовать слонов. С другой стороны было бы больно, если бы слоненок приходил в этот мир через задницу того, кто съел его родственника. От этих размышлений почувствовал себя гораздо лучше. Теперь не так уж и неприятно отправляться в гости. Ладно, пойду.

Опаздываем на добрых два часа, однако мой друг не волнуется. Меня успокаивает, что хороший тон требует опаздывать на два, четыре часа и более. Опаздываем на два с половиной, когда спускаемся в метро, чтобы отправиться в арабский квартал. Поезда, разумеется, не ходят, так как на нашей линии какой-то разочаровавшийся прыгнул под поезд и, естественно, погиб. Пока ждем, воображение рисует картины: персонал метро вытаскивает на перрон останки тела; женщины, одевшись в белые одежды, клянутся никогда больше не садиться в последний вагон; японцы собираются фотографировать трагедию, однако полиция их не пускает; матери закрывают детям глаза; более извращенные делятся с окружающими виденным неделю назад. Поезда метро по-прежнему не ходят. Значит, самоубийца был парень не промах. Не каждый, прожив даже сто лет, может гордиться, что однажды ему удалось дестабилизировать положение в столице. Так или иначе, то, что сделал самоубийца, величественно и разумно – мы опоздаем на четыре часа. Ради этого стоило жить. Он своего добился. Хороший тон действительно требует приходить с небольшим опозданием.

Когда хозяин открывает двери, его лицо радостью не светится. Он словно подавлен и недоволен. Вовсе не кажется, что нас ждали, сгорали от нетерпения, готовились. Он даже немного сердит и, кажется, негостеприимен, хотя ботинки снять и не велит. Зовут его Жан, и в какое-то мгновение мне приходит в голову, что он гений – дело в том, что не бывает и минуты, когда оба его глаза были бы одновременно открыты. Когда он открывает один глаз, то закрывает другой. Когда этот устает, открывает тот, а этот закрывает.

Словом, охвачен постоянной сменой. Предугадать ее невозможно, так как совершенно неизвестно, как долго он будет держать закрытым один глаз или открытым другой. Кстати, глаза у него, мягко говоря, выпученные. Может, он их бережет, чтобы не вылезли из орбит? Не знаю. Он играет этими глазами как мячиками, поэтому сначала я и осмелился подумать, что он гений и что такой у этого гения стиль. Опять ошибся. Он больной, однако не знаю, как называется эта болезнь, когда на мир смотришь только одним глазом, а другой закрываешь. Название должно быть. Мне очень хочется его спросить, однако он, кажется, сжился со своей бедой, а теперь думает, что это признак гениальности. Сдерживаю себя и не спрашиваю. Не могу оторвать взгляда от его глаза, глаз. Попадаю в капкан неинтересной мне игры, поэтому считаю: один, два, три, четыре, пять. Открыл. Снова считаю: один, два, три. Открыл. На него можно смотреть как на произведение искусства. Не надоедает. Я мог бы предложить экспонировать его в Центре Помпиду, однако вряд ли он согласится. Может, стоит попробовать...

– Садитесь за стол, – умоляет он, а его глаза играют, играют, играют.

Мы садимся к пустому столу, на котором стоит какой-то странный аппарат, который он получил, как рассказал Даниэль, на день рождения от друзей. Снова подумал, что друзья с ним

общаются только для того, чтобы можно было насладиться непредсказуемой игрой его глаз. С другой стороны, женщин ему не нужно соблазнять. Он только взглянет, как они уж должны все понять. Женщинами в этом доме и не пахнет. Зато пахнет квартирантом, который, весьма гордо стуча шлепанцами, шествует в туалет. Ему за столом сидеть запрещено. Когда начинают доноситься звуки, я понимаю, что с пищеварением у квартиранта неважно. Лекарства предложить не осмеливаюсь.

Жан ставит на стол самую большую и ужасающую мерзость в мире – шипучее яблочное вино необычной крепости, целых три градуса! Я готов облеваться при одной мысли, что и мне придется пить, хвалить. Рюмок у него нет, поэтому наливает в чашки.

– За встречу! – произносит тост хозяин.

– За встречу! – откликаюсь я, однако едва смачиваю губы этим ядом.

Яблочный уксус придает ему сил. Теперь он вращает глазами еще быстрее. Даже достигает определенного рекорда, поскольку пару раз я не успел досчитать и до одного – с такой молниеносной скоростью меняются пространства его мировосприятия. Даниэль сидит спокойный и довольный. Он торжествует, ибо подарил мне новое знакомство. Думаю, моему приятелю эта яблочная кислота тоже по сердцу. Он просит подлить себе и очень удивляется, что моя чашка еще полна. Хотел бы сказать ему, что мы, восточноевропейцы, пьем все, однако не пьем то, что нам не нравится. Молчу, потому что я первый раз в этом доме, да и пришел без цветов.

– Будем есть, – радостно объявляет Жан. – Будем есть, – повторяет он, словно ни один из присутствующих этого не слышал. – Будем есть, – заканчивает он.

Теперь вижу, как Даниэль вытаскивает из своего рюкзака сыры десяти сортов, итальянскую ветчину, польское филе, австрийский пирог, фрукты, овощи. Глазам не могу поверить, а Жан, как и полагается, все это выкладывает на стол. Он гостеприимен, так как и мне предлагает подлить яблочного уксуса. Говорю, что с удовольствием выпью. Только попозже.

– Какой стол! Какой стол! – радуется Даниэль.

Теряю дар речи, так как не знаю, то ли я дурак, то ли он притворяется. Даниэль весьма предусмотрителен. Он захватил с собой даже сладости, пирожки, минеральную воду, соки.

– Французское гостеприимство, – характеризует ситуацию Жан, а его глаза теперь, соревнуясь друг с другом, моргают уже с бешеной скоростью.

– Научу тебя, как тут надо есть, – говорит мне Даниэль. – Вот на это блюдечко кладешь сыр, после этого засовываешь его в этот аппарат, и тогда...

– Что будет? – осведомляюсь я, так как мне интересно.

– Увидишь, увидишь, – не хочет выдавать тайну он.

– Я – бретонец, – ни с того ни с сего заявляет Жан.

Сую сыр в аппарат. Жду. Вытаскиваю – плавленый сыр. Плавленый сыр.

– О, как чудесно! – Даниэля настигает оргазм.

– Мы, бретонцы, любим поесть, – все не нарадуется своему происхождению Жан. – Потому что мы – бретонцы.

Мне насрать, бретонец он или баск. Ем плавленый сыр с ветчиной и не чувствую себя на седьмом небе.

– Может, еще вина?

– Нет, спасибо, не нужно, – отвечаю.

Не могу на себя нарадоваться. Я, такой галантный, приятный, воспитанный, приглашен в гости. Мне так хорошо, так хорошо... Особенно находиться в гостях. Только будьте любезны, не наливайте мне больше этой яблочной отравы. Три процента алкоголя, где это видано?! Не хочу и того сыра из аппарата, который Жану подарили на день рождения друга, должно быть в надежде, что как-нибудь он их угостит.

Даниэль по-прежнему в трансе от угощения Жана. Не хватало еще, чтобы начал хвалить его кухню и кулинарную изобретательность. Жду не дожусь этого момента. Не дожусь, так

как Жан тащит второй литр яблочной мерзости. Никак не пойму, зачем они пьют эту кислятину?! Во-первых, опьянеть от этого вина невозможно – оно вдвое слабее пива. Во-вторых, довольно приторное. В-третьих, газированное. Когда я однажды предложил Даниэлю попить газированной минеральной воды, он отказался, заметив, что углекислый газ очень вреден для организма. Ничего не понимаю. Ничего! Здесь все непредсказуемо.

– Что ты делаешь? – обращаюсь, набравшись смелости, к Жану.

– Был артистом...

– Балета?

Нет, он не понимает остроты или намека. Он чист, как все цветы Индии, которыми украшают себя еще более чистые священники и монахи.

– Актером. В театре.

Мне такое не в диковинку: со своими глазами он мог бы метить и в президенты – толпу было бы не оторвать от его взгляда. Актер – это хоть актер.

– Долго был актером? – пытаюсь я продолжать интеллектуальную беседу, так как иначе он снова будет заставлять меня есть и пить.

– Восемь сезонов.

– Целых восемь...

На том беседа и заканчивается. Надо бы спросить о ролях, однако знаю заранее, что играл он недорослей, дурачков, обиженных. Режиссер был бы сумасшедшим, если бы доверил ему Ромео или Фауста. Правда, для пьес Брехта нужны разные маргиналы. Подозреваю, что о Брехте он и не слышал.

– Ты окончил театральную студию, – скорее утверждаю, чем спрашиваю я.

– Он самоучка, – встречается Даниэль, прекрасно знающий биографию Жана и тем гордящийся.

– Я и композитор.

– Неужели?! – не могу я надивиться многообразию его способностей. – Ты и композитор?!

– Да, сочиняю музыку на компьютере. Это просто.

– Сам научился?

– Да. Это несложно. Поставлю тебе произведение, на которое меня вдохновило море.

Даниэль пытается его остановить, но тщетно. Жан уже за пультом.

Шум моря вначале не новость. Теперь мне надо было бы закрыть глаза. Слушаю с открытыми глазами. Точнее, не слушаю, так как у меня море не вызывает никаких видений. Я глух. Жан, бросив есть, слушает, наполовину прикрыв глаза. Когда произведение кончается, мне остается только сказать, что очень понравилось, однако я нерешительно что-то мычу об обрушившемся деревянном мосте Тишкявичюса в Паланге и еще не построенном новом. Думаю, Жан недоволен. Мне наплевать. Не собираюсь его хвалить, так как мне ничего от него не нужно. Новых дикарей в Берлине я тоже не хвалил. Ничего не случилось.

– Могу тебе переписать, – предлагает он, не потеряв еще надежды, что я заинтересуюсь. – Есть и вторая часть.

Благодарю, однако «да» не говорю. С другой стороны, не говорю и «нет». Он сам должен сообразить, сориентироваться, решиться. Даниэль мудро, словно буддист-паромщик, молчит. У него, наверное, записано все творчество Жана. Не замечал, чтобы он его слушал. Не упоминал он в разговорах со мной и о том, что есть вот, мол, в Париже композитор-самоучка, музыка которого могла бы вывести меня из безумия и паразитической комы.

– В последнее время в основном сочиняю музыку, – расширяет повествование о себе Жан. – Правда, в нотах не разбираюсь, но зачем ноты компьютеру?!

– Действительно, зачем эти ноты?

Даниэль уже дремлет, отдав меня в когти хищника. Он пережрал, хотя дома сам настоятельно требовал не есть того гуся. Сам виноват, не нужно было столько всего закупать.

Я в самом деле не могу поддерживать разговор. Прямо даже не знаю, за какую тему приняться. Мне неинтересна его жизнь. Ему неинтересна моя, да и будить его интерес я не собираюсь. Могу сказать только, что в моей жизни этот самоучка – абсолютный нуль. Так стоит ли общаться с нулем?! Имеет ли смысл разбазаривать время, когда вместо этого можно лежать на двuspальной кровати и слушать Фрэнка Заппу. Еще одна бессмыслица. Еще одно недоразумение. Еще один жизненный парадокс. А Жан по-прежнему вращает этими своими глазами. Ловко вращает. Недаром был актером.

Он начинает действовать мне на нервы, хоть я и у него дома. С другой стороны, пусть засунет себе в задницу свой дом в арабском квартале, раз оторвал меня от размышлений о никчемности.

– А не хочешь ли бордо? – бьет Жан в мое больное место, и я чувствую, как моя ненависть стихает, стихает, стихает...

– Разве что чуть-чуть, – только и говорю я в ответ, а сам не могу найти себе места: да неси, неси скорей это свое вино!

Он выходит. Слышу, как шепчется с квартирантом. Тон квартиранта не из приятных. Они не могут о чем-то договориться. Загадка разногласий меня не интересует, так как я с детства не умею ни разгадывать, ни загадывать загадки. Наконец Жан возвращается.

– Мне очень неприятно, но вина нет. Принес третью бутылку яблочного сидра. Он ведь тебе нравится, правда?

Я мог бы схватить нож, перерезать ему горло, выскрести открытый глаз, кастрировать, отрезать член и засунуть ему в зубы, однако сдерживаюсь и не делаю этого. Сдерживаюсь. Успокаиваюсь. Совсем успокаиваюсь. Абсолютно успокаиваюсь. Превращаюсь в Будду. Сажу в позу лотоса. Расцветаю в нирване. Ко мне обращается Вселенский Разум. Я ему улыбаюсь.

– Какие пустяки, – говорю, когда он откупоривает бутылку сидра, обрызгав и разбудив Даниэля. – Налей мне этого удивительного напитка, который не только проясняет, очищает и концентрирует мысль, но и омолаживает тело. Налей, охотно его выпью. С огромным удовольствием освежусь им. Да и в горле у меня уже сухо от этих разговоров.

Разбуженный новой бутылкой, Даниэль тоже подставляет стакан. Чокаемся. Мы дружелюбны, внимательны друг к другу, услужливы. Прямо вифлеемские пастушки, прямо ангелы, проводившие в рай Святого Петра.

– За здоровье! – провозглашаю торжественно.

– За знакомство!

– За все то, что доставляет удовольствие!

Не могу не изумиться, как это я не поперхнулся. Газированная жидкость опускается в мои внутренности. Желудок вроде бы сводят судороги, однако мозг успевает убедить его, что в гостях так вести себя не подобает. Желудок трус, поэтому уступает и не возражает. Он и серную кислоту переварил бы, если бы только интеллекту удалось его убедить, что это неизбежно.

От этого лимонада мои друзья уже опьянели. Я опьяняюсь перспективой возвращения домой, когда вытащу ром и смою осадок этой вечеринки. Это придает мне сил. Подкрепляюсь ветчиной, так как не знаю, возьмет ли ее Даниэль или оставит здесь. Ветчина вкусная. Итальянская. Итальянцы не только страстные любовники, но и ветчину вкусно умеют приготовить. Обувь их, как подумаю, правда, неважная, хотя попадаетея и неплохая.

Звонок в дверь. Жан вдыхает воздух, Даниэль его выдувает. В дверях показывается девушка.

– Я – Сесиль, – говорит она мне, а в руках у нее бутылка вина. – Простите, пожалуйста, что немного опоздала – в метро самоубийца. Раньше никак не получилось. Простите, пожалуйста.

Извинения принимаются, хотя опаздывает она на четверо суток. Меньше всего сержусь я, так как уже с порога она заявила, что это говно за шесть франков пить ни за что не будет. Внутренне я с ней совершенно согласен. Она сразу вызывает у меня симпатию: маленькая, с кривыми ногами, монументальной грудью, в короткой юбочке, с белой кожей, на которой проступают красные пятна, и длинными ресницами, на которых висит гной. Чокаемся и вдвоем пьем принесенное ею вино. Вечеринка продолжается. Начинается...

Бог, отдыхая в седьмой день, наверное, хотел подложить человечеству свинью. Воскресенье – нет более тоскливого и бессмысленного дня недели. Особенно летом и особенно в мегалополисах, таких, как Париж, Лондон, Берлин. Люксембург к этой группе не причисляю, так как и обычный день недели здесь такой же, как в других местах воскресенье, – тоска. Раздумываю, за что взяться в будний день, а уж в воскресенье просто впадаю в безнадежность. Мне непонятно, почему люди должны один день в неделю прятаться, торчать в своих норах и терзаться, что наступает понедельник. Не скажу, что другие дни недели в моей жизни полны смысла, деятельности, деловых встреч, но воскресенье – нет более мерзкого времени. С другой стороны, этот день такой же, как и другие, просто предрассудки сделали его невыносимым. Конечно, можно было бы пойти в церковь, помолиться, покаяться в совершенных в будни грехах, однако в моей жизни нет ни грехов, ни будних дней, ни праздников. Все идет по прямой линии, без подъемов, без спусков, без захватывающих дух историй или парадоксальных происшествий. Я не обнаруживаю в своем бытии сюжетов, которые можно было бы извлечь из биографии и издать в виде триллеров, любовных историй, детективов или психологических драм. Должно быть, поэтому все надуманное, гипертрофированное, притянутое за уши меня нервирует. Наше бытие представляется нам отрезком, начало которого – рождение, а конец – смерть. Самые разумные в этом промежутке – точки начала и конца. Сейчас я на середине этого отрезка, поэтому не думаю о том, что меня ждет, не вспоминаю того, что было. Просто скольжу по прямой, кем-то когда-то мне начертанной. Остерегаюсь всякой ненужной эксцентрики, способной прервать прямую и превратить ее в гиперболу, параболу или геометрическую фигуру. Мне нравится скользить. И нравятся истории без начала и конца, так как они отражают промежуток времени между рождением и смертью. Финал мне чужд, как чужда такая литература, в которой повествование начинается с прадедов героя и кончается рождением потомка как раз тогда, когда описанный персонаж доживает последние минуты. Я действительно не хочу, избегаю сюжетов, а к чужим равнодушен; хотя немало тех, кто, соблазнившись, описывал их, а позже получил за это премии и нишу в кладбищенской стене истории культуры. Мне достаточно фиксировать сегодняшний день, поэтому я ужасно не люблю воскресений, выбивающих меня из спокойного ритма. В воскресенье я становлюсь раздражительным, всем недовольным и несчастным. Наверное, именно в такой день я смог бы стать персонажем фильма ужасов и прервать прямую. Однако даже не пытаюсь, так как все чужое мне чуждо. Вероятно, это очень банально, однако я убежден, что и самый прозорливый балансирует на канате банальности – прямой линии, отклоняющейся то в одну, то в другую сторону, – страстно желая, однако, не потерять равновесия. Меня никто не убедит, что гении расцветают в другом измерении, где все по-другому.

В это изгаженное воскресенье я брожу все по тем же улицам, которые когда-то были новыми. Сейчас они мне кажутся потасканными, как дешевые проститутки, поджидающие священников Сен-Дени, которые заворачивают к ним после утренней мессы. Как если бы я находился в вымершем городе и сам чувствовал себя мертвым. Если бы меня в этот миг не было в этом городе, в этой системе измерений, ничего бы не изменилось. С другой стороны, и хорошо, что не изменилось бы. Брожу туда-сюда, словно желая вернуть вчерашний день, когда был моложе, добрее и не так злился на календарь, назойливо напоминающий, что с каждым днем я становлюсь все мертвее и равнодушнее к внешнему миру. Еще только полдень, а я уже хочу

постареть на сутки вперед. Мне неприятно думать об этом и признавать, что я все время чего-то хочу и жду. А когда я углубляюсь в себя и раскрывается суть желаний и ожидания, выясняется, что цель-то – всего лишь смерть. Это ужасно, и поэтому грустные, овладевшие мною на бульваре Османа воскресные мысли я гоню из головы, когда тащусь на Монпарнасское кладбище – неизбежное место моих прогулок. Подаюсь на север, поворачиваю направо, не встретив никого из прохожих, возможно, испытывающих то же состояние, что и я сейчас. Наверняка то, что происходит сейчас в моей голове, и есть жизнь. А может, жизнь – это то, что в данный момент я ныряю на бульвар Сен-Мишель? Мне трудно определить, что является более разумным и ценным. Как гуляющий индивид – я ноль. Как думающий – тоже. Восхитительная сумма нулей, неповторимое равновесие бытия, открывающее возможности вести себя и думать так, как мне удастся. И никаких обстоятельных комментариев, наводящих, кстати, на мысль, что они составлены из бесконечности арабских чисел.

Топчусь на бульваре Сен-Мишель и не могу решить, куда направиться. Северный Париж банкиров за Сеной еще тоскливее, монмартровский диснейленд противен. Можно пойти на Северный или на Восточный вокзал, однако это было бы уже акцией отчаяния, подтверждающей, что у меня совершенно нет воображения. Не хочу сдаваться, поэтому подпираю стену и думаю: назад? вперед? направо? налево? Все варианты в это воскресенье одинаково отбивают охоту. Конечно, можно было бы присесть в кафе, однако что от этого изменится – день ведь не превратится в ночь. Вспоминаю красивое название романа – «Мои ночи прекраснее ваших дней». Действительно, точно сказано. Можно добавить: и дней, и ночей, и всего.

Еще только час дня. Солнце настроилось выжечь все живое. Мне это не грозит, так как меня как бы и нет. Я – лунатик, сомнамбула, астральное тело, которое сжигает изнутри бессмысленность этого дня, заполнившая подсознание, парализовавшая волю и мышцы ног. Беру себя в руки и перемещаюсь в тень.

По Люксембургскому саду катятся комки пыли. Черные служанки буржуев пасут малолетних отпрысков, которые когда-нибудь будут заседать в Ассамблее, обещать лучшую жизнь и называть себя слугами народа в Пятой республике. Наверное, в то время будет уже Шестая республика. Никакой разницы, числа меняются, суть неизменна – слуги и дальше будут водить детей играть в Люксембургский сад, детишки будут строить замки из песка, которые позднее превратятся во дворцы, за которые никто не захочет вносить квартплату, и начнут судиться из-за неуплаченных налогов. Пока что они невинны, как ангелы. Не один, когда засияет Вифлеемская звезда, мог бы улечься в ясельки и притвориться Спасителем. Никто бы и не заметил обмана. Все сказали бы: «Ой, какое красивое дитя! Какое оно нежное! Какие чистые у него глаза!»

Ищу, где бы сесть. Все скамейки заняты, все стулья одушевлены. Здесь проходит жизнь. Кажется, весь Париж сбежался подышать пылью, покрыться ею, чтобы позже можно было стирать, стирать, стирать и снова стирать воскресную одежду, насыпав прямо-таки удивительного стирального порошка. Кое-как нахожу стул. Тащу его в тень и ставлю в вихре пыли и песка. В кармане у меня книга, однако я не вынимаю ее, потому что со всех сторон меня окружают празднующие воскресенье французы, арабы, алжирцы и даже пара русских эмигрантов. Они целуются у меня за спиной и все повторяют, чтобы не забыть: я тебя люблю, Саша, я тоже, Ольга. После каждого поцелуя они произносят эти сакральные фразы и снова погружаются в невинные любовные радости, которые по прошествии пяти лет супружеской жизни им осточертеют. Краешком глаза наблюдаю за ними, потому что мне доставляет удовольствие слышать язык Достоевского, Тургенева, Пушкина и Ломоносова, плывущий в этом адском чаду.

Пока думаю о сибирском походе Ермака, получаю удар мячом в голову. Ударившая двухметровая служанка даже не извиняется. Ее четырехлетний подопечный хватается мяч и пинает его. На этот раз он попадает в сидящего напротив меня старичка, который не возражал против Мюнхенского сговора, выдержал репрессии коллаборационистов, возможно, даже видел де

Голля и, несомненно, наблюдал студенческую революцию семидесятых. Старичок в нокдауне, а я думаю: хорошо ему отплатили за обиды, нанесенные жителям Папезте французами-колонистами. Кажется, что этот ребенок по меньшей мере сын министра, который в будущем и другими способами выразит осуждение прошлому государству. Он не успокаивается и теперь попадает мячом в неожиданно вынырнувшего мусульманина, похоже, не фундаменталиста, потому что тот, улыбнувшись, без камня за пазухой идет себе дальше. На проделки ребенка я смотрю снисходительно, а вот умственное развитие двухметровой служанки вызывает у меня беспокойство. Она снова целится в меня мячом и попадает. Засранное воскресенье. Остается только встать и идти искать место поспокойнее.

Сижу в тени у карусели, маниакально кружащей малышам головы, чтобы не думали о будущем, безработице, клошарах и трудностях ремонта старой Оперы. Для них воскресенье – праздник. Со свернутыми головами они будут жить всю неделю, до следующего воскресенья. Место, куда попал мяч, саднит. Чувствую себя нечистым, вспотевшим. Отвратительнее и быть не может. Вытаскиваю из кармана книгу и начинаю читать: «Любовь моя, очень хотел бы, чтобы ты поехала вместе со мной в Париж. Показал бы тебе свои любимые улицы, которые полвека назад исходил с пустым животом; повел бы в кафе, в которых писал книгу, позднее давшую мне свободу и независимость. Очень хотел бы, чтобы ты поехала вместе со мной в Париж. Я хочу открыть его тебе таким, каким он был когда-то. Хочу показать город, которого уже больше нет. Вот чего я больше всего хочу в эту минуту. Хочу и молю – поедем со мной».

Пью кофе в студии Джима, в которой в прошлом году отирался весь месяц. До этого остановился у Вероники, однако она меня выставила, сказав, что жить вдвоем в восьмикомнатных апартаментах слишком тесно. Я не рассердился на нее, потому что она – буржуйка. Точнее, не буржуйка, а безработная. Однако ее отец – буржуй, который держит антикварный магазин за Бастилией. В прошлом году она была влюблена в Жан-Люка – на редкость мрачного персонажа, который, как в таких случаях и подобает, удовлетворив свою страсть, ее бросил. Об этом она мне писала из Нью-Йорка, куда отправилась утешать боль потери и разлуки. Нет, не сержусь на нее, так как у Джима мне было совсем неплохо.

Сейчас завернул к нему и пью кофе, хотя его и нет дома. Джим еще в Петербурге. Все это рассказывает Петер, которого в прошлом году я послал к черту, так что в этом он очень услужлив, хоть и успел уже уколоть меня, сказав, что я ничего не делаю.

Очень удобно заходить в эту студию, так как она в каких-нибудь десяти минутах ходьбы от улицы Кастаньяри, на которой мне становится тесно. Приятно пройти улицей Алезья, описанной не одним бумагомарателем. Люблю ее, улицу, полную магазинов, дешевых кафе, антикварных лавок и пустых ресторанов, в которые забредает плебс этого квартала. Можно и на автобусе доехать, однако пешком лучше.

На середине улицы Алезья всегда сидит толстяк, назойливо выпрашивающий милостыню и прямо-таки хватаящий прохожих за полы. Меня он уже запомнил, так как несколько раз мы с Даниэлем проходили мимо него. Даниэль хвастался, что однажды, когда этот толстяк требовал деньги, он сказал ему, мол, «ты и так толстый». С тех пор тот якобы больше к нему не цепляется. Может, и правда, потому что мне он тоже ничего не говорит, а только позвякивает вслед жестянкой, в которой, как можно заподозрить, лежат какие-нибудь пять франков.

Петер сварил кофе. Изумительный кофе. В этом деле на Петера можно положиться, хоть он и прекратил творческую дружбу с Сантаной. О нем Петер может рассказывать часами, поскольку служил у него носильщиком или каким-то осветителем, а может, и озвучивал что-то... Не знаю. Словом, его обязанность в том, чтобы варить хороший кофе и составлять иногда компьютерные программы на втором этаже студии, где обычно хранятся картины и скульптуры. Он живет в жутком бардаке, однако, когда вспоминает Амстердам, только улыбается. Петер симпатяга. Ему уже за сорок, а он все еще не состриг длинные волосы, трогательно под-

черкивающие лысину. Он любит рыгать. Рыгает всегда звучно и как бы с гордостью. Никто на это не обращает внимания.

Теперь он мне рассказывает, что здешний квартирант Джек уже три месяца как в Америке. На следующей неделе должен вернуться. Джек – вторая яркая личность в этом доме. Можно сказать, что Петер – слуга Джека, а слугами Джима, хозяина дома, являются Петер и Джек. Джек – это толстяк ростом метр пятьдесят, с трудом поднимающийся с кровати. Он живет в подвале, куда ночами приводит мальчиков и угощает их кока-колой со льдом. Джек не только профессиональный повар, но и писатель. Когда-то написал книгу «Как мыть посуду», которую выпустило собственное издательство Джима. Джек нервный и довольно сердитый. Внешностью он очень напоминает французского бульдога. Жаль, что сейчас его нет дома. Мне просто приятно смотреть, с каким неистовством он готовит еду. А готовит безумно вкусно, потому что уже двадцать лет работает в воскресном ресторане Джима, в который заходят разного сорта проходимцы, авантюристы, монополисты и еще черт знает кто.

– Значит, Джек в Америке, – говорю я Петеру, не упускающему случая напомнить, что у каждого из них своя жизнь, в которую никто не имеет права соваться, хотя они и живут вместе на протяжении двадцати лет.

– Да, он в Америке. А почему ты еще не говоришь по-английски? – кусает меня Петер.

– Не говорю потому, что мог бы договориться с тобой по-немецки.

Его удовлетворяет этот ответ, хотя он и объявляет себя гражданином мира. Я, разумеется, положил на всех граждан мира, знающих, кто они такие.

Курильщики выходят на улицу, так как в этом доме не курят. Курит один только Петер. Мне горько бывало смотреть, как по окончании воскресной вечеринки он собирает с земли наброшенные гостями окурки. Это еще одна его обязанность, навязанная Джимом и Джеком. В таких случаях он кажется достойным сожаления.

В студии с прошлого года ничего не изменилось. Тот же беспорядок, те же ароматы, на столе те же журналы для гомосексуалистов, которые упорно выписывает Джек. Я видел, с каким нетерпением он ждет каждый номер. Все его сто пятьдесят килограммов прямо кипят. Однако несмотря на беспорядок, тараканами здесь не пахнет. Они почему-то избегают эту студию, хотя здесь идеальные условия для их деятельности.

Джим, который сейчас в России, личность исключительная не только для этой студии, но и для Парижа. Говорят, что он писатель, однако написал он только автобиографию, да выпустил пяток книг, составленных из текстов его приятелей. Уже много лет он занимается педагогикой – преподает в университете социологию секса. Писать, очевидно, ленится. Может быть, писал раньше, в молодости, когда жил в Британии и издавал первый в Европе журнал на темы секса, получивший звучное название «Еби и соси». Сейчас ему под шестьдесят, однако его половая мощь недостижима для других. Живя у него под боком, я сам мог в этом убедиться. Каждую неделю, как часы, по средам и пятницам, его навещала двадцатилетняя натурщица. Сначала он усаживал ее за стол, кормил, словно дедушка, умеренно поил вином, а потом вел на второй этаж и большую часть ночи трахал. Жил я внизу, а нора его без стен, так что я не только слышал, но и кое-что видел. Девушка наверху кричала, визжала, стонала, а дедушка и не думал отступать. Кстати, в это же время Джек в подвале доводил до кондиции какого-нибудь подростка, а у того рот тоже не был зажат. До меня доносились стереозвуки, меняющиеся, сливающиеся, переплетающиеся друг с другом. Было жаль прожившего здесь двадцать лет Петера, который наверняка мастурбировал, потому что я не представляю, как иначе можно выдерживать столько времени, ничего не делая со своими органами. После всего этого девушка проходила мимо меня помыться, поскольку я спал как раз рядом с ванной. Мылась она проворно, Джим же порой и после мытья не оставлял ее в покое. Он действительно гигант и недаром считается одним из крупнейших в мире специалистов в этой области. Думаю, немало найдется таких, кто почел бы за честь улечься под него и испытать все, что накопил и усовершенствов-

вал этот шестидесятилетний. К сожалению, сейчас Джима нет дома, хотя я только из-за него и пришел.

С Петером беседовать тяжело, так как он молчун. С другой стороны, я уже убедился, что, и живя двадцать лет втроем, за неделю они перебрасываются от силы несколькими предложениями. Сто лет назад очень подошли бы для него кино.

– Передал тебе Джим мой привет? – спрашиваю я Петера.

Он глядит на меня, как свинья, которой ссут в ухо, и не скрывает, что это один из самых глупых вопросов, когда-либо заданных в мире. Он просто поверить не может, что можно спрашивать о таких вещах. Мой рейтинг в его глазах падает до самой низкой отметки.

– У него же своя жизнь, а у меня своя.

Да, глупо спросил.

Нужно бы встать, однако Петер точно заметил, что ничего лучше я не найду. Ему можно поверить, потому что большую часть жизни он проводит здесь – в студии. Живя рядом, я мог видеть что он неделями не выходил за порог студии. Может быть, он нашел свой берег? Такое постоянство мне понятно. Возможно, потому я и уважаю его не меньше, чем Джека и Джима. Первый, правда, немного непоседа. Каждый вечер он исчезает и возвращается лишь за полночь, разумеется, ведомый партнером. Подозреваю, что Джек работает в каком-нибудь ресторане для геев поваром: когда я как-то спросил, давно ли он готовит, он ответил, что всю жизнь.

Когда я все-таки собираюсь уходить, в студию заглядывает с ног до головы татуированный старичок. Он в отличном настроении, так как совсем недавно получил фотографии с вечеринки. Он играл там первую скрипку. Он подсовывает мне грудку фото, на которых увековечена оргия рокеров-гомосексуалистов. Наибольшее удовольствие ему доставляет фотография, на которой он запечатлен на стуле упившимся до потери пульса, а из шорт у него торчит одинокое яйцо. Петеру эта фотография тоже больше всего нравится. Он даже просит копию, чтобы повесить ее над своим компьютером. Татуированный соглашается помочь ему.

Я пересмотрел огромную кипу фотографий, поэтому теперь чувствую моральное право идти обратно на улицу Кастаньяри. Петер больше меня не удерживает, напоминает лишь, что через несколько дней возвращается Джим. Мне это и нужно было узнать.

– Загляни завтра, – говорит мне Петер, когда я уже в дверях, – все равно в этом городе нечего делать. Выпьем кофе, покурим.

Его предложение мне подходит. Выхожу на улицу Алезья и медленно-медленно двигаюсь к дому, превратившемуся в убежище.

Солнце по-прежнему безумно жарит. Хорошо, что Алезья – живительная прохлада.

Жара в этот день немного спала, поэтому полуголые, у открытого окна, мы беседуем обо всем и ни о чем. Даниэль решил не мучить больше себя и докторскую. В последнее время, когда он сидит за компьютером, с губ его то и дело срывается слово «говно». Он прямо сжился с ним, слово стало частью его беспокойной души. Даниэля гнетет эта диссертация и перспектива стать профессором не лингвистики, а философии, однако я ничем не могу помочь. Когда я вспоминаю свои письменные труды и муки, которые приходилось испытывать и терпеть, он говорит, что это все пустяки по сравнению с тем говном, которое ему второй год не дает покоя. Не лжет, потому что когда он отрывается от экрана, я вижу, какой он весь перекошенный и синий. Однако такова участь всех гениев. Недаром французское правительство вложило в них не одну сотню тысяч франков. Теперь он должен диссертацией вернуть меняющимся правительствам долги. Правительства меняются, а диссертация Даниэля все та же. Завидное постоянство. Одно только ясно: понаблюдав его в теперешнем состоянии, я никогда не буду писать диссертацию.

– Говно. Я ее напишу, защищу и выброшу, сожгу в тот же миг. Она никому не нужна. Это пыль в глаза. Это такое говно, – заводит себя Даниэль, и без того достаточно нервный.

– Может быть, тебе только так кажется. Ее будут читать, выпустят отдельной книгой, – пытаюсь я его утешить, хоть и не верю только что сказанным словам.

– Говно. И книга та никому не будет нужна, и читать ее никто не будет. Это такое говно...

Он теперь все фразы начинает с этого слова. В глубине души я рад, что разум не окончательно изменил моему другу и он может размышлять как нормальный человек. Совершенно согласен, что эта диссертация – говно и мир не обогатит. Когда представляю себе, сколько написано диссертаций со времени основания университетов и сколько их выброшено на помойку, мне даже страшно подумать, что все еще находятся люди, которые верят в разумность такой деятельности.

– Если тебе так тяжело, – говорю ему, – я мог бы написать тебе пару десятков страниц политовски. Все равно никто ничего не поймет. А пока найдут специалиста, ты уже защитишься.

– Нет. Не нужно.

Когда речь заходит о диссертации, его чувство юмора как-то улетучивается. Теперь он мне рассказывает, как его коллега защитила диссертацию, а потом выяснилось, что она списала ее с другой – не слишком известной. Ее якобы лишили научной степени, выгнали из университета и запретили писать какие бы то ни было диссертации.

– Но она может писать их для собственного удовольствия. Этого права ее никто не лишал. Она может написать хоть десять диссертаций.

– Может, но это ничего не меняет.

Академические темы угнетают и меня, и его. Даниэль еще зеленый. Мне-то что – игра, а ему... Бедняга, если бы я мог, взорвал бы все университеты, присвоившие себе право классифицировать людей в соответствии с их имманентными критериями. Хотел бы помочь, однако он отказывается от моей помощи. Это его дело.

– У меня не остается времени даже почитать, – по-прежнему негодует он.

– Когда ты пишешь, то слушаешь музыку. Музыка тоже искусство. Она не хуже, чем литература. Вспомни «Игру в бисер» Гессе и магистра музыки.

– Да обосрись ты со своей музыкой.

Да, его не изменишь. Мне не стоит его раздражать – ему и так тяжело. Пытаюсь представить себе, каким бы я стал комком нервов, если бы мне сейчас нужно было писать диссертацию, зная при этом, что защита через полмесяца. Наверняка сошел бы с ума. Сошел с ума и кого-нибудь убил бы.

– Мой коллега, мы с ним учились в школе, тоже пишет диссертацию, – не оставляет эту тему мой друг. – Однако он болен психическим заболеванием. Он гений, но болен. Тоже бывает. Его болезнь проявляется в том, что он не может писать. Не может писать. Когда я зашел к нему, он вырезал слова из газет и клеивал их в диссертацию. Только так он может работать. У него была девушка-помощница. Она ему вырезала, но не выдержала и бросила его. Страшно. Мне так его жалко. Страшно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.